

Александр Грин

Рассказы 1909-1915

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Г85

Грин А.
Г85 Рассказы 1909-1915 / Александр Грин – М.: Книга по Требованию, 2012. – 306 с.

ISBN 978-5-4241-2941-4

Неистовый мечтатель Александр Грин - признанный мастер сюжета. Его книги отличает смелый полет фантазии - с высоким отрывом от бескрылой действительности. В своих рассказах он рисует страны, созданные из света, морских ветров и цветущих трав, где в разноязычном шуме гаваней собираются золотоискатели, охотники, художники, неунывающие бродяги, но прежде всего - моряки. Грин повествует о мужестве этих вечных тружеников, о могуществе природы и особенно бережно и взволнованно - о любви.

ISBN 978-5-4241-2941-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Александр Степанович Грин
Собрание сочинений в шести
томах
Том 2. Рассказы 1909-1915

Позорный столб

Позорный столб

I

Пока обитатели Кантервильской колонии бродили в болотах, корчюя пни, на срезе которых могли бы свободно, болтая пятками, усесться шесть человек, пока они были заняты грубым насыщением голода, борьбой с бродячими элементами страны и вбиванием свай для фундамента будущих своих гнезд, — самый строгий любитель нравственности мог бы уличить их разве лишь в пристрастии к энергическим выражениям.

Когда дома были отстроены, поля вспаханы, повешены кой-какие вывески с надписями: “школа”, “гостиница”, “тюрьма” и тому подобное, и жизнь потекла скучно-полезной струей, как пленная вода дренажной трубы, — начались происшествия. Эру происшествий открыл классически скупой Гласин, проиграв расточительному, любящему пожить Петагру все, что имел: дом, лошадей, одежду, сельскохозяйственные машины, — и оставшись лишь в том, что подлежит стирке.

Потом были кражи, подлог завещания, баррикада на перекрестке, когда трое безумцев защищали права на свой участок с магазинками в руках; один из них, убитый, был поднят с крепко стиснутой зубами сигарой. От одного мужа убежала жена; к другому, имевшему прелестную подругу и двух малюток, приехала, разыскав адрес, с дальнего запада плачущая, богато одетая женщина; у нее были великолепные, новенькие саквояжи и рыжие волосы. Последнее, что возмутило ширококостных женщин и бородатых мужчин Кантервиля, издевавших, кстати сказать, за восемь месяцев жизни в переселенческих палатках все птичьи прелести грубого флирта, — было гнусное, недостойное порядочного человека, похищение милой девушки Дэзи Крок. Она была очень хорошенькая и тихая. Кто долго смотрел на нее, начинал чувствовать себя так, словно все его тело обволакивает дрожащая светлая паутинка. У Дэзи было много поклонников, а похитил ее Гоан Гнор вечером, когда в пыльной перспективе освещенной закатом улицы трудно разобрать, подрались ли возвращающиеся с водопоя быки или, зажимая рукой рот девушки, взваливают на седло пленницу. Гоан, впрочем, был всегда вежлив, хотя и жил одиноко, что, как известно, располагает к грубости. Тем более никто не ожидал от этого человека такого бешеного поступка.

Достоверно одно, что за неделю перед этим на каком-то балу Гоан долго и тихо говорил с девушкой. Наблюдавшие за ними видели, что молодой человек стоит с жалким лицом, бледный и не в себе — “Я никого не люблю, Гоан, верьте мне”, — сказала девушка. Женщина, расслышавшая эти слова, была наверху блаженства три дня: она передавала эту фразу с различными интонациями и комментариями. Лошадь Гоана, мчась у лесной опушки, оступилась на промоине и сломала ногу; похититель был схвачен ровно через час после совершения преступления.

Конная толпа, собравшаяся на месте падения лошади, сгрудилась так тесно, что ничего нельзя было разобрать в яростном движении рук и спин. Наконец

кольцо разбилось, девушку, лежавшую в обмороке, оттащили к кустам. Братья Дэзи, ее отец и дядя молча били придавленного лошадьё Гоана, затем, утомясь и вспотев, отошли, блестя глазами, а с земли поднялся растерзанный облик человека, отплеывая густую кровь. Огромные кровоподтеки покрывали лицо Гоана, он был жалок и страшен, шатался и хрипел что-то, похожее на слова.

Неусовершенствованное правосудие глухих мест, не имея в этом случае прямого повода лишить Гоана жизни, привлекло его, тем не менее, к ответственности за тяжкое оскорбление Кроков и девушки. После долгого шума и препирательств в землю перед гостиницей вбили деревянный столб и привязали к нему Гоана, скрутив руки на другой стороне столба; в таком виде, без пищи и воды, он должен был простоять двадцать четыре часа и затем убираться подобру-поздорову, куда угодно.

Гоан дал проделывать над собой всю церемонию, двигаясь, как отравленная муха. Он молчал. Запевалы кантервиля и прочие любопытствующие, отойдя на приличное расстояние, полюбовались делом своих рук и медленно разошлись по домам.

Стемнело. Гоан, облизывая разбитые, присохшие к зубам губы, обдумывал план мести. Все перегорело в его душе, он не чувствовал ни стыда, ни бешенства; опустошенный, он припоминал лишь, кто и как бил его, чья речь была злее, чей голос громче. Это требует больших сил, и Гоан скоро устал; тогда он стал думать о том, что никогда не увидит Дэзи. Он вспоминал сладкую тяжесть ее затрепетавшего тела, быстрое биение сердца, которое в эти несколько счастливых минут билось на его груди, запрокинутую голову девушки и свой единственный поцелуй в то место, где на ее груди растегнулась пуговица. И он замычал от ненасытной тоски, напряг руки; веревки обожгли ему кожу суставов. Еще ночь впереди и день!

Гоан стоял, переминаясь с ноги на ногу. Иногда он пытался уверить себя, что все сон, откидывая голову и, стучаясь затылком о столб, разбивал иллюзию. В стороне, крадучись, звучали шаги, замирали против Гоана и, медленнее, затихали у перекрестка. В окнах погасли огни, неясный силуэт, часто останавливаясь, приблизился к Гоану, и наказанный вдруг вспыхнул, покраснел в темноте до корней волос; жилы висков налились кровью, отстукивая частую дробь. Оглушающий стыд потопил разум Гоана; застонав, он закрыл глаза и тотчас же открыл их. Печальное лицо Дэзи с широко раскрытыми глазами остановилось перед ним совсем близко, но он не мог протянуть руку для просьбы о снисхождении.

— И вы... посмотреть, — тихо сказал Гоан, — уйдите, простите!

— Я сейчас и уйду, — произнесла торопливым шепотом девушка, — но вы не защищались, зачем вы допустили все это?

— Ах! — сказал Гоан. — Слова сожаления; но поздно, Дэзи. Вы мучаете меня, а я люблю вас. Уйдите, нет, не уходите... или уйдите; пожалуй, это самое лучшее.

— Мне ужасно жаль вас. — Она протянула руку, погладила растрепанные волосы Гоана быстрым материнским движением. — Ну, что вы, не плачьте. Вы... или нет, я уйду, увидят.

Она отступила в тьму, и более ее не было слышно. Вздрагивая и улыбаясь, Гоан глотал падающие из немигающих глаз крупные соленые капли; от них было тепло щекам и душе.

В воздухе просвистел камень, стукнул о столб, задел Гоана по уху рикошетом

и шлепнулся к ногам похитителя.

— Для вас, Дэзи, — сказал Гоан, — только для вас.

II

Утром, когда движение на улицах стало задерживаться, так как многие не спали ночь, желая утром пораньше взглянуть на возмутителя общественного спокойствия, Гоана отвязали. Кучка неловко усмехающихся парней подошла к столбу сзади, за спиной привязанного. Брат Дэзи, клыкастый и длинный богатырь, разрезал ножом веревку.

— Велено отпустить, — пробормотал он, откашливаясь, — так смотри... не шляйся в здешних местах.

Гоан упал, упираясь руками в землю, встал и, шатаясь из стороны в сторону, словно шел по палубе судна в бурю, направился домой. Толпа сосредоточенно расступилась.

Через час на дверях небольшого гоановского дома болтался замок. Наглухо заколоченные окна, следы копыт у изгороди, тишина стен — все это указывало, что воля колонии исполнена. Видели, как Гоан на второй своей лошади, белой с рыжим хвостом и крупом, не оглядываясь, проехал задворками к скошенному Крокову лугу. Далее начиналась лесная тропа, путь зверей и охотников.

Гоан ехал шагом, ему нестерпимо хотелось повернуть лошадь назад и хоть еще раз взглянуть на знакомое окно Дэзи. Натягивая поводья, он с трудом приподымал отекающую руку. У ручья он задержал лошадь, посмотрев в сверкающие струи потока; там, снизу, встретилось с ним взглядом опухшее, темное лицо. Выбрать место для поселения казалось ему пустяком, — земля большая.

На повороте к горам, где, за синей далью чащи, шла дорога к большому портовому городу, Гоан, услышав сзади неясный шум, повернул голову, продолжая ехать и мрачно думать о будущем. Стук копыт явственнее выделился в лесном гуле, Гоан остановился, и, задыхаясь, его нагнала Дэзи.

Слишком большое, потрясающее недоумение лица Гоана развязало ее язык. Смущаясь, она выслушала все восклицания. Он думал, что понимает, в чем дело, но боялся верить себе. Подъехав ближе, Дэзи сказала:

— Гоан, возьмите меня. Мне нет житья больше. Меня грызут все, распустили слух, что я была в уговоре с вами. И даже, что у нас есть ребенок, спрятанный на стороне.

Гоан молчал. Лошадь, на которой сидела девушка, казалась ему литой из утреннего света.

— Отец оскорбил меня, — продолжала Дэзи. — Он говорит, что все это была лишь комедия и я греховна. Но вы знаете, что это неправда. И вам не нужно похищать меня еще раз. Я вынесла взрыв злости и оскорбления.

— Милая, — сказал Гоан, улыбаясь во всю ширину разбитого своего лица, — мужчины стали бы преследовать вас теперь за то, что не они пытались овладеть вами... а женщины — за то, что вам оказали предпочтение. Люди ненавидят любовь. Не приближайтесь ко мне, Дэзи: клянусь — я не удержусь тогда и начну вас целовать. Простите меня!

Но скоро их головы сблизились, и две любви, одна зарождающаяся, другая — давно разгоревшаяся страстным пожаром, слились вместе, как маленькая лесная речка и большая река.

Они жили долго и умерли в один день.

Табу

I

Положение писателя, не умеющего или не способного угождать людям, должно внушать сожаление. У такого художника выбор тем несколько ограничен, так как настроенный антихудожественно к обычным проявлениям жизни — болезни, радости, горю, любви, труду, страстям и так называемым “достижениям” — человек становится более противосоциальным явлением, чем профессиональный убийца. Не может быть ничего оскорбительнее для читателя, как равнодушие к его нуждам: это понятно; вместе с тем писатель антисоциальный не может принудить себя к гуманистическому изображению быта; то, что он пишет, замкнуто само в себе, подобно ударам колокола в глухой пещере. Однако известен случай, когда именно такой писатель стал популярен, — я привожу здесь его собственный рассказ об этом странном, если не более, происшествии.

— Мы отплыли, — сказал мне Агриппа, — отплыли из Калькутты с самыми зловещими предзнаменованиями. Во-первых, с парохода бежали крысы. Во-вторых, на очередной пассажирский рейс в разгаре сезона прибыло так мало пассажиров, что две трети кают остались пустыми. В-третьих, механик, накануне отплытия, видел себя во сне ползающим на четвереньках перед Нептуном; морской бог, по словам механика, яростно грыз свой трезубец. “Факты и комментарии!” Фламарион с достоверностью утверждает, что на кораблях, обреченных катастрофе, пассажиров всегда меньше против обыкновенного; знаменитый астроном приписывает это неосознанному предчувствию, однако с большей уверенностью можно наградить странным предчувствием крыс. Во всяком случае, я, как человек научно суеверный, посетил нотариуса и общество страхования жизни и — вы увидите далее — поступил правильно, так как могло быть хуже, чем вышло.

На восьмой день нашего плавания мы потерпели классическое кораблекрушение, по всем правилам этого печального дела. Схематически можно выразить это так: туман, риф, пробойна, град проклятий, охрипшие голоса, шлюпки и неизменный, одиноко тонуший капитан наш не составлял исключения. Все это произошло на рассвете. Настроенный злорадно по отношению к обществу страхования жизни, я, тем не менее, не захотел увеличить своей особой список ужасных премий и, насколько хватило соображения, стал измышлять средства.

Само собой понятно, что мне, при моей медленности и неповоротливости, не удалось пристроиться ни в одну шлюпку. Закон человеколюбия превратился в грубую солдатскую дисциплину, прозевавший команду терял связь с ходом массового спасения. Да, вышло так, что я остался на палубе, и, по правде сказать, у меня не хватило духу прыгнуть в последнюю, переполненную лодку, — может быть, я потопил бы ее своей тяжестью. Капитан, честный, как большинство из них, стоял у трубы, скрестив на груди руки. Лицо бедного малого напоминало взволнованное море, ему, конечно, страшно хотелось жить, но положение обязывает — приходилось идти ко дну. Однако, постояв еще минуту-другую и, видимо, волнуясь все более, капитан, бросив на меня взгляд, выражавший некоторое смущение, бултыхнулся в воду и поплыл к ближайшей шлюпке, где его, мокрого,

втащили на борт, а я, охваченный непонятным равнодушием к жизни, уселся на его месте, рассматривая в бинокль переполненные людьми лодки, которые даже при несильном волнении неизбежно должны были пойти ко дну. Таким образом, у меня было сомнительное утешение — потонуть с комфортом и на просторе, тогда как мнимоспасшимся предстояло в бурную погоду пойти ко дну ужасной гирляндой, хватаясь друг за друга, как за соломинку.

Пароход, раскачиваясь от перемещавшейся в трюмах воды, погружался медленно и безостановочно. Я, вытащив карманную библию, читал книгу премудрости Соломоновой; не будучи человеком религиозным, я, тем не менее, из понятной хитрости делал это на всякий случай. Закрыв библию, я стал думать о смерти, но, к удивлению своему, так вяло, что оставил этот предмет и занялся рассматриванием океана. Очень далеко, на линия горизонта, белел парус. Раньше его не было, из чего я без труда заключил, что судно не удаляется, а приближается, но трудно было сказать, сколько времени пароход останется над поверхностью воды. Думая, что это может случиться неожиданно и не желая попасть в могучую образоваться воронку, я сам бросился в воду, отплыв шагов на сто; пробковые нагрудник и пояс хорошо держали меня. В таком положении я стал ожидать спасителя, оказавшегося туземным рыбацким судном, и через час был принят на борт. Тем временем пароход исчез в глубине океана, образовав, как я и ожидал, шумный водоворот, родивший множество мелких волчков-воронок, разбежавшихся под синим утренным небом с тихими всплесками.

II

Законы гостеприимства вынужденного — не совсем то же, что званый вечер; однако я не могу сказать, что чернокожие Аполлоны, провонявшие рыбой и чесноком, держали меня в черном теле. Попытки разумных, взаимных объяснений с помощью жестикуляции и щелканья языком не привели ни к чему — мы так и не разговорились, после чего, будучи оставлен в покое и утолив голод вареной рыбой, я крепко уснул. При слабом, но ровном ветре судно быстро скользило вперед, держась одного курса; шум рассекаемой форштевнем воды, глухие голоса дикарей, нестройные звуки дикого инструмента вроде волынки и скрип реи скоро усыпили меня. Я лежал в кормовой части, среди рыбьих костей, необрушенных деревянных чашек и тряпок — рядом с моим лицом топали босые ноги рулевого, а надо мной двигался румпель. Я заснул, полный странного равнодушия к дальнейшей своей судьбе и перенесся в страну видений, полных грозной таинственности, по пробуждении же не мог ничего вспомнить. Когда я проснулся, была ночь, передо мной на корточках сидели два чернокожих и рассматривали меня с большим увлечением. Один, ударив меня по плечу, сказал: “Като-го... като” — и засмеялся. По тону голоса я заключил, что ко мне относятся дружелюбно. Скоро подошли и другие, и снова завязался трудный разговор на двух языках; однако, желая выяснить направление и цель нашего путешествия, я добился того, что один из дикарей, показав на юг, вытянул три пальца и пригнул их, затем, очертив рукой в воздухе окружность, сказал: “Орпозо”, что, по-видимому, было названием местности. Из всего этого я пришел к выводу, что судно плывет на юг, и через три дня будет в “Орпозо” — должно быть, какой-то остров.

Я не буду описывать однообразия нашего плавания, так как при одном воспоминании о духоте зноя, рыбной вони и непобедимой от безделья сонливости

мне становится скучно. Разумеется, во всем этом есть много интересных бытовых подробностей, но, не состоя этнографом, оставляю быт дикарей перу неутомимых исследователей, знающих это дело. Я же, будучи от природы не склонен к изображению домашней утвари и обычаев, перейду к главному. Утром третьего после моего спасения дня мы, держась вблизи высокого неизвестного для меня берега, обогнули его в южной части, лавируя среди островков, так круто и живописно изрезанных маленькими лагунами, что я, по неопытности, постоянно принимал устья их за целую сеть проливов и убеждался в ошибке, лишь заглянув в сияющую округлость их, полную скал и блеска. Сохранив и высушив свой костюм, я представлял, стоя с заложенными в карманы руками, странное среди голых и черных тел зрелище; по контрасту это доставляло мне известное невинное удовольствие. Насвистывая “Сон негра”, я любовался царством первосказанной красоты, любимейшей матери людей — природы, исходящей лучезарными улыбками океана, серебристыми, лиловыми оттенками берегов, дивной прозрачностью воды, беспричинной, полной радости света, обмывающего в зеленоватой глубине воли плавники дельфинов, раковины, орхидеи и камни, отполированные столетиями столетий. В это время, вылетая на длинных веслах из дремотных лагун, несколько десятков пирог, полных вооруженными туземцами, образовали сомкнувшийся полукруг, и я услышал непередаваемый вой, способный внушить навсегда отвращение к человеческому голосу. Хозяева мои бросились к парусам, но было уже поздно, судно хоть и имело сзади открытый путь, неизбежно выйдя из ветра, остановилось бы в галсе, впереди же плотной, щетиистой от копий и щитов цепью надвигались враги.

Я не успел опомниться, как несколько стрел, пробив паруса, закачались в них, подобно веткам под севшими на них птицами. Вытащив небольшой карманный револьвер, я схватил свой пробковый пояс и, прикрываясь им, как щитом, пустил три пули в стоявших на ближайшей пироге; двое, пронзительно заорав, нырнули в воду. Хозяева мои спешно вооружались ножами, палицами и копьями. Испутив столь же пронзительный гогочущий вопль, как и нападающие, они стали у бортов, размахивая над головой лезвиями, и, по тусклому свету загоревшихся бешенством глаз, я увидел, что кому-то придется круто.

Я стоял у мачты, приберегая пули на крайний случай. Враги, раскачивая судне из стороны в сторону, висли на бортах, срывались, вскакивали на палубу, убивали и падали сами с раскроенными черепами. К ногам моим подкатилась, тяжело стукнув, ловко отрубленная голова. Держа револьвер в левой руке, а в правой толстый деревянный рычаг, я бил этим незамысловатым орудием всех подступавших близко, и с такой яростью, что обратил на себя исключительное внимание. Меня обступили со всех сторон, стараясь полоснуть на смерть, однако уроки отставного кавалериста Геймана не прошли даром, и я увесисто попадал в челюсти концом рычага, действуя тычком и наотмашь, пока не поскользнулся в крови, после чего упал на колени; рычаг был вырван из моих рук, а я, взмахнув револьвером, рассеял все остальные заряды в костлявые тела дикарей. На мгновение я увидел свободное пространство, а затем почти нечувствительный стгоряча удар в голову опрокинул все в диком смешении мелькающих черных белозубых лиц, и я с пересекшимся дыханием упал к ногам победителей.

III

Приступая теперь к событиям, имеющим прямое отношение к сущности моего рассказа, я заявляю, что все дальнейшее, как бы невероятно и чудовищно ни показалось оно людям мирного душевного склада, происходило в действительности, во всей своей ужасной бытовой простоте. Я очнулся на руках дикарей; от слабости я висел, как плеть, меня, подхватив подмышки, поддерживали в стоячем положении; неподалеку я увидел двух черных матросов со связанными позади руками; остальные, вероятно, были убиты. Я был гол, как и они — с меня сняли все. Нас окружала толпа, человек в триста, все это происходило в центре большой поляны — вековые деревья, застывшие в массивной неподвижности огромных стволов, придавали неизвестности будущего характер зловещий и мрачный. Взглянув перед собой, я увидел большой костер, возле которого сутились дети и женщины.

Я попытался вырваться, но был прижат еще крепче. В это время к одному из пленников быстрыми скачками приблизился мускулистый дикарь, взмахнул дубиной и оглушил несчастного по голове тяжким ударом; пленник, пробежав шагов пять, упал в конвульсиях; второй, видя смерть товарища, жалобно закричал, но был убит тем же приемом. В тот момент, когда упала первая жертва, я почувствовал себя дурно от страха; еще немного, и я вновь, на этот раз уж навсегда, лишился бы сознания, оглушенный палицей. Инстинкт самосохранения, вспыхнувший при виде этой бесчеловечной расправы, с силой удара грома подсказал мне, что просить пощады бессмысленно. Явлению, поразившему меня, следовало противопоставить нечто, способное поразить, в свою очередь, шайку убийц. Палач, свалив второго, теми же кошачьими прыжками направился ко мне. Я вырвался из рук дикарей, схватил первого попавшегося за горло, отбросил его изо всей силы прочь и, кинувшись на землю, забился в невероятных корчах, подражая судорогам эпилептиков.

Могу сказать смело, что, понадобится где-нибудь на сцене телодвижения, подобные выполненным мной в эти минуты, я остался бы непревзойденным в своей случайной импровизации. Я бился спиной, головою, грудью и животом, грыз землю, судорожно сплетал руки, барабанил коленями, закатывал глаза, хрипел и кричал. Сила отчаяния заставила меня быть почти истериком настоящим. Как ни был я поглощен единой мыслью поразить убийц безумством телодвижений, все же я не мог не заметить, что впечатление велико. Подбежавшие ко мне отступили, в кругу раздались крики, но не угрожающего оттенка, и скоро, продолжая вертеться волчком, но посматривая вокруг, я увидел, что окружен плотным кольцом присевших на корточки дикарей; наконец, обессилив, я вытянулся неподвижно лицом вверх, приготовившись, на всякий случай, ко всему худшему.

Случилось так, что мой расчет оправдался. Я почувствовал, что меня осторожно приподымают, сопровождая это восклицаниями, и возгласами, и воплями; отдохнув несколько в сидячем положении, я встал и, с намерением усилить эффект, поднял руки вверх, как бы призывая на помощь и в свидетели знойное солнце. Подумав немного, я запел первое, что пришло в голову; то было “Хабанера” Бизе; суеверные мозги людоедов приняли ее с должным почтением. Ко мне подошел старик с птичьими костями в носу и глиняными кружочками в отвисших губах; костюм его состоял из моих брюк и носового платка, повязанного так, как это делают страдающие зубной болью; старик, положив мне на грудь руки,

оглянулся и сказал: “Табу”. Тотчас же от меня отошли все, оставив под присмотром двух человек, молчаливых, с испуганными, как теперь у большинства, глазами, и я, измученный, сел на землю.

По-видимому, я отнял у людоедов много драгоценного времени, так как, лишь изредка посматривая в мою сторону, занялись они, с живостью и аппетитом проголодавшихся школьников, противоестественной трапезой. Тела убитых, выпотрошенные и освеженные совсем так, как свиные или телячьи туши, были разделаны на куски и подвешены близ огня; дикари, занявшиеся этим, подбрасывали в рот маленькие кусочки сырого мяса, отрезая их полуворовски, полуоткрыто, как случайную привилегию. Через десять минут от стройных человеческих тел, превращенных в пищу, понесся запах крови, жира и гари. У ног леса дремали синие тени; струился, как вода, переливчатый, огненный воздух, а над пышной травой, пахучей и сочной, летали исполинские бабочки с волосатыми мясистыми тельцами, яркие и ленивые. Мне не предложили поесть. Не думаю, чтобы дикари в этом руководились соображениями этическими: им было, вероятно, мало самим, а я благодарил за это судьбу.

IV

Я хорошо сообразил свое положение и мог быть до времени спокоен за свою жизнь. “Табу” — абсолютный запрет, патент, выданный мне за относительную мою святость, которую я, по понятиям каннибалов, достаточно доказал акробатическими упражнениями и пеной у рта, — действовал, вообще, магически. Скоро я убедился, что это положение имеет свою обратную сторону, но не следует забегать вперед.

Меня поселили в маленьком шалаше, очень хорошо пропускавшем ветер и дождь. Шалаш этот стоял несколько в стороне от деревни, раскинутой неправильным полукругом; я насчитал сорок два подобных моему шалашу и один побольше, в котором жил вождь этого свирепого племени, он же и жрец. Этот человек испортил мне много крови. Его звали Умоти, что в переводе значит муравьиное яйцо; я же назвал бы его охотнее яйцом василиска, так как ядовитый старик беспрестанно шпынял меня язвительными сожалениями относительно цвета кожи и глаз, считая голубые глаза непринятыми в хорошем обществе. Кроме того, он имел скверную привычку подозревать меня в тайных колдовских замыслах и терпеливо расспрашивал, что я думаю о своей манере барабанить пальцами по колену — в его глазах это равнялось каким-то волшебным манипуляциям. Кроме него заходил еще иногда ко мне человек с отвислым, дряблым и большим животом и очень большими белыми зубами, некто Башлу; этот осматривал меня плотоядно, вздыхая и приговаривая: “Белый человек очень добрый, очень мягкий, он очень вкусный”. Башлу был простой мужик, загнавший в гроб четырех жен. Он носил мне пищу и воду. Мне обыкновенно доставались обеды и кости, к которым, зная несколько анатомию, я приступал после тщательного детального рассмотрения. Остальные дикари удостаивали меня своим посещением значительно реже и приходили обыкновенно группами; сидя на корточках вокруг меня, они беседовали со мной самым светским образом, т. е. о пустяках — своих семейных делах, сплетнях, охоте и рыбной ловле, амулетах, погоде, или рассказывали сказки, до чего были большие охотники. Часто я подвергался расспросам: людоеды желали знать, кто я, из какой страны, и едят ли у нас